

Несколько касательных к кругу правды

Последнее время элита, имеющая допуск к эфиру, стала обсуждать проблему греха и святости. Выступали многие достойные люди. Но никто не вспомнил ключевого определения, данного Антонием Сурожским. Неужели его глубокий опыт и размышления до сих пор не коснулись верхов образованного общества? А между тем формулировка Антония дает простой и ясный подход к целому ряду проблем: “Грех – это потеря контакта с собственной глубиной”. Здесь нет ни одного непонятного слова. Каждый человек, подумав, сумеет отделить глубину, в которой действует совесть, от поверхностных страстей и увлечений, толкающих к поступкам, от которых потом щемит. Проблема, о которой писались богословские диссертации, изложены языком, доступным электромонтеру. Это общая тенденция бесед Антония, его поисков контакта с современниками, одна из причин, по которой беседы его вызвали широкий отклик. И находка Антония должна была бы оказаться в центре нашего внимания. Не нужно начинать с богословских предпосылок. Нужен только личный опыт восстания глубин против поверхностных бурь и болтовни ума. То есть минимума Самосознания, который может сложиться у любого человека, в любом культурном кругу: у атеиста, христианина, мусульманина, буддиста...

Немного подумайте, и вы поймете, что этот ключ легко повернется и к противоположности греха, к святости. Грех – отсутствие контакта, а святость – полнота контакта с собственной глубиной, в пределе – до последней глубины, где исчезает всякая двойственность и стирается граница между человеком и Богом. Когда путник из притчи Джелаледдина Рума, постучав в дверь хижины, отвечает на вопрос Хозяина: “Ты пришел к Тебе”. Когда св. Силуан пишет: “Я не верю в Бога, я знаю Бога”. Когда опыт глубины дает блаженство встречи – или невыносимую тоску при нарушении контакта (оба состояния описаны в книге “Старец Силуан” и в “Большой касиде” Ибн ал Фариды).

Там, где между Богом и человеком мыслится пропасть, святость принадлежит только Богу. Так это в древнем иудаизме и в ортодоксальном исламе. Но чувство божественной целостности предощущается в книге Иова, во встрече мученика с Богом, когда Бог передает ему свое ликование творца и в этом ликовании вся мука твари тонет.

Осознание святости как вершины человеческих путей нашло свое полное выражение в словах Христа: “Будьте подобны Мне, как Я подобен Отцу Моему небесному”. Сходные мысли были впоследствии выражены в суфизме и очень близкие – в раннем хасидизме. Это общая логика развития всех великих религий, начавшаяся в Индии в I тысячелетии до Р.Х. и постепенно доходящая до всех культурных кругов. У Антония она выражена в требовании непосредственной “встречи” каждого члена церкви с Богом (см. ниже).

Чтобы понять до конца Антония, Силуана и суфийских мистиков, вспомним притчу Энтони де Мелло, современного наследника нескольких средневековых традиций. В этой притче Бог спрашивает ангелов, где ему укрыться от людей, и ангелы ему отвечают: “В человеческом сердце. Вот куда люди никогда не заглядывают”. Я думаю, речь идет о последней глубине “глубокого сердца”, о котором говорят мистики, когда сознание вещей в пространстве и времени почти тонет во внутреннем огне и в то же время остается, сохраняет свою трезвость, преображенную и уравновешенную присутствием сознания целостно-вечного (как это сумел изобразить Рублев в Звенигородском Спасе)¹. Однако в разговоре с мальчиком, сказавшим, что он видел Бога, Антоний ограничился жестами: “Где ты Его видел? Здесь (и поднял руку вверх), здесь (протянув руку в пространство) или здесь (приложив ее к груди). Мальчик показал на сердце. Антоний признал подлинность встречи. Я думаю, он был прав. Именно в глубине сердца (а не на мифическом небе, разрушенном астрономами) достовернее всего чувствуется присутствие абсолютной полноты святости.

Таким образом, можно четко обозначить полное отсутствие контакта с собственной глубиной (грех) и полноту контакта (единство Отца и Сына). Но человеческая святость обычно несовершенна, и мы признаем святыми людей, которые только иногда приближаются к ее полноте. Одна из моих слушательниц внезапно почувствовала, что зародыш святости есть в каждом человеке. Это напомнило мне буддийскую сутру о татхагатагарбхе, то есть зародыше просветленного, зародыше Будды, с которым рождается каждый человек. И если говорить о детях, что-то подобное в них действительно мелькает. Однако ребенок, вырастая, проходит через полосу соблазнов и по большей части в ней застревает. Следы искушений остаются даже в святых, вырвавшихся в глубину, пробивших прочную дорогу к ней, и святые обычно сомневаются в своей святости. Или, по крайней мере, предпочитают сравнивать себя с теми, кто выше и светлее, чем с теми, кто темнее и ниже. Дух человека растет и крепнет, когда он тянется вверх, за светом, как дерево за солнцем. В этом смысл икон, созданных великими иконописцами. И в этом же смысл ответа Рабии, когда ее спросили, что она думает о дьяволе. Бывшая рабыня, ставшая святой раннего суфизма, ответила: “Я не думаю о дьяволе, я думаю о Боге”.

Однако для того, чтобы уходить от греха, чтобы увидеть грех, какой он есть, без камуфляжа, достаточно прикоснуться к самому порогу глубины, почувствовать хоть изредка слабую искорку контакта, укол совести. Я думаю, из этого исходила Улицкая, участница одной из дискуссий, предложив переменить тему разговора в эфире и поговорить о праведности, которая не такая уж редкость и известна нам по опыту. При этом Людмила Евгеньевна сделала ошибку, несколько поспешив и определив праведность как жизнь по правилам. На самом деле, отношения праведности с правильностью довольно сложные. В крайних случаях это просто разные вещи. У Акима, во “Власти тьмы” Толстого, неразвитая речь, он не умеет формулировать правила, вряд ли даже он помнит десять заповедей, – но просто чувствует сердцем, что “тае”, и что “не тае”. Напротив, Кайафа и Анна жили по заповедям, но праведниками они не были. Правда была у Христа, нарушавшего заповеди и за это отданного римлянам на распятие под предлогом оскорбления величия кесаря Тиберия.

Апостол Павел противопоставлял “букву” правил, которая мертвит, праведности и святости духа. Однако единственным критерием, который он дал, было тождество с Христом (“Я умер, жив во мне Христос”). Это чисто личный критерий, большинство не в силах им воспользоваться. Христос указал более доступный критерий. Когда Ему был задан вопрос, каковы две наибольшие заповеди (а это значит: какова иерархия заповедей?), – Он ответил: Возлюбить Бога всем сердцем и всей душой и возлюбить ближнего как самого себя. Установив превосходство заповедей любви над запретами, Христос тем самым снизил ранг запретов. Если заповедь блюсти день субботний сталкивается с заповедью любви к ближнему, то действие запрета приостанавливается; и так же во всех других случаях.

Однако грех греху не ровня. Нравственное чутье подсказало св. Василию Великому канон: воин, вернувшийся с поля, три года не допускается к причастию. Три года он должен молиться, чтобы отмыть душу от следа, оставленного убийством. Убивать, защищая родных, родную страну – неизбежный грех, его нельзя не совершить, и все же это грех, Всякий принцип можно сравнить с касательной к кругу правды – иногда по прямой линии соблюдения заповедей, правил, принципов, а иногда резко от них отступая. Пока он касается незримого круга, истинность его бесспорна. Но прямая где-то неизбежно отрывается от круга и уходит в дурную бесконечность. Недаром в народе говорят: принципы – глупая вещь, недаром в языке возникло выражение “довести до абсурда”. До абсурда доводятся именно правила, законы, заповеди, принципы. И в таких случаях сердце, или интуиция, или дух целого (всё равно, как это назвать) должны подсказать, когда поступить юридически и логически нелепо, шагнуть по бездорожью. Это не создание нового прецедента, в добавок к старым, – как в английском праве. Нарушение остается нарушением. Антоний с уважением говорит о принципах, о законах, опирающихся на опыт человечества, более полный, чем личный опыт. Но в какой-то точке, не

отмеченной никаким крестиком, Божий след уходит с твердо очерченной прямой, возвращается к кругу правды, заметному только глубиной сердца. Христос учил соблюдать заповеди Моисея, и он же показывал, когда и как их можно нарушать. Правда идет по земле “Божьим следом”, как это назвал Антоний.

Здесь возможны ошибки. Нравственное решение, рвущее с законом, невозможно без риска. Но отказаться от решения, чтобы избежать риска – тоже риск, риск подлого бездействия. Я думаю, что в разговоре о Божьем следе Антоний имел в виду глубочайший уровень сердца, где огонь благодати уравновешен трезвением, где любовь к Богу и любовь к ближнему сливаются в единую Любовь, движущую звездами, – и не помраченную страстями. Суд присяжных может сказать убийце “не виновен”, но не потому, что обвиняемый сродни присяжным, что они не любят черных, чеченцев и т.п.

Даже высшая святость не всегда очевидна. У буддистов есть длинный список примет Будды – и есть понятие пратьека–Будды, то есть Будды без всяких примет. Христос на Голгофе не засветился, как на Фаворе. О праведниках и говорить нечего. Они почти всегда незаметны, как лейтенант Сидоров, о котором я писал в “Записках гадкого утенка”. Случай обнаруживает праведника – и следующий день снова погружает его в темноту обыденного. Но я думаю, что расчет Гитлера, – дойти до Москвы за два месяца, – был сорван незаметными праведниками, последними уходившими с рубежа, попавшими в окружение, в плен и потом осужденными за измену родине. Пусть они не были святыми – но они прикоснулись к святости в своем оплеванном мученичестве.

Вернемся теперь к иерархии любви и запретов. Сегодня христиане охотнее всего вспоминают соблюдение и несоблюдение субботы. Это окаменевший пример, потому что субботу перенесли на воскресенье и культура воскресенья, равного культу субботы, у христиан нет. Но превосходство любви относится к другим запретам. Я не могу назвать любовь Паоло и Франчески прелюбодеянием. Данте отправил их в ад (хотя мог бы ограничиться чистилищем) и тут же, выслушав рассказ Франчески да Римини, упал в обморок. Этот обморок остался в святцах культуры, и мы не чувствуем себя грешниками, слушая музыку Чайковского, посвященную Франческе, вспоминая ее слова, как книга стихов упала на пол, “и больше мы в тот день не читали”. Я разделяю страдания Томаса Мертона, наступившего на горло своей любви к Марджи; глубина чувства сама по себе создает святой и неразрывный обряд, когда раскрытые глаза переливают души друг в друга и рождают общую душу.

Но история редко останавливается на золотой середине. Победила не любовь, а культура наплыва, который легко уступает место другому наплыву и в конце концов – случке. От того, что ее припудрил обряд, она не становится чем-то достойным человека. У Рильке она вызвала тошноту и стыд. Я помню последние строки стихотворения, которое много раз переводилось на русский язык:

И когда тела, не получив ожидаемого, С отвращением отрываются друг от друга, Одиночество хлещет реками.

Выход из этого одиночества Рильке нашел в уединении, открытом космосу. Примерно так поступил и Михаил Пришвин, но на седьмом десятке к нему пришло чувство двух людей, в уединении достигших восполненности. Редкость такой встречи создается разрывом между родом, заявляющим свои права очень рано, и медленным становлением личности. Личность в современном сложном обществе складывается не так быстро, как индивидуальность человека племени. По большей части, идеал личности, который мы гордо противопоставляем племенам, так и отцветает, не успев расцвести. А род толкает зачать новых недорослей лет с пятнадцати, иногда даже раньше. И когда личность, переходя от эксперимента к эксперименту, находит себя во внезапной встрече с другой ищущей личностью, на пути к их союзу часто стоят народившиеся

дети. Для них папа и мама – незаблемые столпы жизни. Эта жизнь либо сразу надрывается разводом, либо рвется повседневно, в ссорах, причина которых ребенку непонятна.

Гармония инь и ян в Дао – редкая удача. Жизнь взрослых – путаница, из которой трудно выбраться без греха. Одно хорошо, что эта путаница обходится без массовых убийств. Но расшатанность семьи и падение рождаемости – издержки, которые цивилизация вынуждена платить.

* * *

Пахнет кровью другая заповедь: “Не сотвори себе кумира”. Первые христиане безусловно ее соблюдали и никаких изображений Христа в древнейших катакомбах нет. Но затем влияние культуры Средиземноморья пересилило иудейскую традицию. Выход был найден в изменении стиля. Помог фаумский портрет. Помогло влияние буддийской иконографии, дошедшей в иллюстрациях к манихейским книгам. Как бы то ни было, христианская иконопись сложилась. Эллинизированные и латинизированные народы получили возможность молиться, созерцая зримый образ святости.

Однако в VIII веке на престол Константинополя взошла династия выходцев из глубин Малой Азии, куда икона не успела внедриться. Почитание икон было запрещено. Разъяснения Максима Исповедника, что икона – не кумир, не тело Бога, а только символ святости, не убедили иконоборцев. Их победила женская хитрость. Афинянка Ирина, избранная в супруги императора за красоту, воспользовалась ранней смертью своего мужа, ослепила сына и совершила государственный переворот, короновав себя в мужском роде василевсом. По ее приказу, иконоборцев, отказывавшихся почитать святые иконы, стали казнить. По подсчетам историков, на которые опирался Шарль Диль в своих “Византийских портретах”, было перебито до ста тысяч человек. Константин Леонтьев считал Ирину образцом христианского монарха. Церковь причислила ее к лику святых.

Меня эта канонизация не убеждает. Однако в итоге победы иконопочитателей был собран VII Вселенский собор и установлены строгие правила иконописи, продержавшиеся примерно до XVI века. Возможность чувственного соблазна была устранена. Икона давала только одну степень свободы: вглубь, к святости и только к святости. По канонам VII Вселенского собора работал и Феофан Грек, и Андрей Рублев. Византийская и древнерусская икона остается одной из вершин мирового религиозного искусства.

А дальше начался новый круг развития. Живопись Ренессанса, сохраняя библейские сюжеты, отказалась от ограничений VII Вселенского собора ради богатства красок и форм трехмерного мира; а на севере, где не было прочной традиции зримой божественности, искусство Ренессанса вызвало реакцию: протестантизм изгнал живопись из церкви и шведские солдаты в Польше рубили иконы мечами.

* * *

Не менее долгую историческую распря вызвало противоречие между ветхозаветным призывом почитать отца и мать свою – и словами Христа: “Я принес не мир, но меч, разлучу отца с сыном”.

Почитание отца и матери ассоциативно связано с почитанием традиций, почитанием рода, народа, нации, верностью своей стране. “Моя страна, права она или нет”, – говорят англичане. А между тем, меч Христа эту верность рассекает, ведет к вселенской вере, и если нужно – против своей страны, впавшей в грех (так, как поступил Бонхофер).

КТО ЭТО ?

Прообраз этих споров – судьба буддизма в Индии и раннего христианства – в древнееврейской среде, в I–IV вв. Культура, породившая вселенскую веру, культура, где несть ни эллина, ни иудея, в какой-то миг сознает противоречие между этой верой и самосохранением. Для евреев это была невозможность сохранить тождество с собой в диаспоре, в рассеянии между народами, без замкнутой веры. Замкнутость веры заменяет народу диаспоры государственные границы. Для Индии замкнутость религии обеспечивала ее особую роль в великой цивилизации, где кастовый социальный строй и религия были нераздельны. Индийский “новый завет”, буддизм, был равнодушен к кастовым обязанностям и поставил под вопрос само существование брахманов, хранителей духовно-нравственного порядка. Брахманы боролись и за свое положение, и за сохранение индийской цивилизации, как сложившегося исторического единства. Спор шел мирно, полторы тысячи лет, и был выигран брахманами. Буддизм из Индии был изгнан. Подробнее см. в моей статье “О причинах упадка буддизма в средневековой Индии”. Она перепечатана в моей книге “Выход из транс”, М., 1995.

* * *

Христианизация Восточной Римской империи вызвала здесь сходные формы борьбы этнического со вселенским. Все древние народы, приняв Завет Иисуса Христа, хотели какого-то своего, особого христианства, хотели сохранения своей идентичности в новой оболочке. Константинопольские власти, стремясь к единству, преследовали ереси, и когда пришли арабы, то армяне, копты, сирийцы, ассирийцы, марониты (потомки финикийцев) были уравнены в правах с православными греками и приняли мусульман как освободителей. На первых порах мусульмане были толерантны и охотно принимали местных христиан на службу.

Это не только дело давно минувших дней. Есть сильная тенденция превратить русское православие в нечто вроде иранского шиизма, в национальную церковь и основу национальной идеологии. Этому твердо противостоял митрополит Антоний Сурожский, не обращая внимания на менявшиеся курсы московской политики. В своем выступлении на конференции Сурожской епархии, 8 июня 2000 г., Антоний (знавший, что дни его сочтены) говорил:

“Здесь меня сейчас очень упрекает целая группа людей (не очень многочисленная): Вы, де, изменили русскому православию, потому что строите не Русскую Церковь... А я с самого начала говорил: мы строим Церковь, как можно больше похожую на первоначальную древнюю Церковь, когда людей, абсолютно ничего общего между собой не имущих, одно только соединяло: Христос, их вера. Стояли рядом раб и господин, люди всех возможных языков. К этому я стремился здесь: чтобы люди какие угодно могли прийти и сказать: да, у нас общее одно: Бог... И мне кажется, что в этом разрешение проблемы. Потому что если мы начинаем говорить о русском, греческом или ином православии, мы теряем людей...” и, как сказал один греческий епископ, “Мы предпочитаем, чтобы они пропали, чем их передать в “чужую” церковь... Вот против чего я боролся и буду бороться. Потому что нам нужны верующие, – люди, которые встретили Бога. Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может быть апостолом Павлом, – но которые хоть в малой мере могут сказать: Я Его знаю! И он, и она, они тоже нечто подобное знают, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычаи иные. А обычаи тоже вещь такая, которая перерабатывается не сразу” (“Русская мысль”, №4327, 20-26 июля 2000 г.).

С точки зрения Антония, национальные обычаи достойны сохранения только как форма вселенского христианства, в меру своей пронизанности духом Христа. Мучеником этой идеей пал Александр Мень. Во всяком случае, так считал Антоний Сурожский. Он откликнулся на гибель о.Александра словами, переданными Би-би-си: “Это убийство не уголовное и не политическое, а изуверское и наш общий позор”. Противоположная оценка выражена в поговорке, которую открыто повторяют православные “руситы”: “топор зря не падает”.

Книги Александра Меня сжигались на костре вместе с книгами Александра Шмемана, одного из ведущих православных богословов XX века. Однако уральский костер не помешал выходу из печати “Дневников” Шмемана, замечательного памятника живой христианской мысли. К этому направлению принадлежал и недавно скончавшийся Георгий Чистяков, автор книг, еще ждущих широкого читателя.

Наибольшие заповеди Христа ассоциативно связаны с тем, что Достоевский назвал “всемирной отзывчивостью” русской культуры. Борьба за сохранение этой всемирной отзывчивости создает и будет создавать новых праведников. Их вдохновляет огонь духовной жизни, которую не может победить никакая масса материи.

*Читатель может убедиться в этом, если упорно будет ходить в отдел древнего искусства Третьяковской галереи и всматриваться в творение Рублева. 

** См. Континент № 89 за 1996 г., перевод Е.Майданович.